

Бак Д.П., А.Н. Архангельский

Историософские отступления

Какое место в сюжетном построении занимают теоретические «отступления» повествователя от последовательного изложения событий? И главное из них, звучащее как мощный финальный аккорд, — вторая часть Эпилога.

Будем честными: многим кажется, что эти «отступления» — лишь помеха на пути читателя к тексту, что они сбивают эмоциональный накал. А значит, Толстой совершил ошибку, снабдив свой увлекательный текст скучными рассуждениями. Тем более что они появляются только в третьем томе, который внезапно открывается развернутым, основательным рассуждением «от автора», Рассказчик словно бы отрывает взгляд от своих героев и напряженно всматривается в смутную глубь истории:

«С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти — миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го года стягивались силы России... Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его?..»

До сих пор любая главка о новом повороте в судьбе того или иного героя начиналась с обычной хронологической констатации: «В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск», «Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года». И никаких рассуждений о том, что значили эти события во всемирно-исторической перспективе. Даты нужны были ему лишь как вехи жизненного пути того или иного персонажа или вехи исторических событий — только в третьем томе они становятся отправной точкой для обобщений.

Если Толстой обошелся без этих философствований в первом и втором томах, зачем было портить третий и особенно четвертый? Неужели нельзя было ограничиться ярким рассказом о судьбах героев и об их нравственных исканиях? И вообще: что такое «историософские отступления»? Почему «Война и мир» заканчивается не первой частью эпилога, а обширным трактатом о законах исторического развития?

Не будем спешить с выводами и тем более с приговорами.

Вспомните — изучив пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин», вчитавшись в него, мы пришли к неожиданной мысли: лирические отступления, которые автор щедро рассыпал по тексту, — это на самом деле никакие не отступления, а самостоятельная сюжетная линия. Причем очень важная, сопоставимая по значимости с линиями главных героев.

Не с тем ли самым сталкиваемся мы в эпопее Толстого?

Чтобы найти ответ, нужно разобраться: когда именно повествователь начинает отступать от описания событий в сторону историософских обобщений. Действительно ли только в третьем томе? А может быть, гораздо раньше?

Давайте обратим внимание на постоянные метафоры, рассыпанные по тексту эпопеи. Они ведь связаны с общим замыслом «Войны и мира», с той картиной жизни, которую создает повествователь и которую он обобщит во второй части Эпилога.

Вот главка III первой части первого тома:

«Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели...»

А вот главка XI части третьей того же тома. Повествователь описывает подготовку к Аустерлицкому сражению, упоминает о том, что «в ночь с 19-го на 20-е поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом восьмидесятитысячная масса союзного войска». И как бы невзначай сравнивает

происходящее на полях будущих сражений с работой часового механизма:

«Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения».

Что-то есть общее в этих сравнениях, верно? И веретено, и часовой механизм вращаются неостановимо, они связаны с образом кругового движения. Тот же образ круга, кольца, вращательного движения пронизывает все теоретические пассажи повествователя о природе войны и мира, о законах исторического развития. Более того, он замечает и подчеркивает округлость в таких значимых персонажах, как Кутузов, как Платон Каратаев... И это не случайно. Во-первых, округл сам народ, жизнь его кругообразна, как неизменный круговорот природы. А во-вторых, и веретено, и часовой механизм вращаются не сами по себе, их приводит в действие человеческая рука; так исторические процессы приводятся в действие незримой рукой Провидения...

Постепенно, незаметно, исподволь эти сквозные метафоры разрастаются, усложняются, проникают в ткань повествования. А затем начинают прорастать и в теоретические «отступления».

Вот главка XIV четвертой части четвертого тома:

«Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку — для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности колышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, — так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церкви, ни святых, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого».

Символические сравнения исторических и бытовых процессов с веретеном, с часовым механизмом преобразуются в метафору круговорота народной «роевой» жизни. Та, в свою очередь, ведет к уподоблению разоренной, но возрождающейся Москвы роевому движению муравейника. Но этим дело не ограничивается. Если внимательно прочесть вторую часть Эпилога «Войны и мира», то легко заметить, что в ней этот ряд взаимосвязанных метафор разрастается до космических масштабов:

«Как для астрономии трудность признания движения земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности земли и такого же чувства движения планет, так и для истории трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности».

Круговое движение веретена, часового механизма, роящегося муравейника повторяется в круговом движении планет вокруг солнца. И всюду, во всей вселенной, действует один и тот же закон: закон подчинения частного общему, закон зависимости отдельного человека и человечества в целом от таинственной воли Провидения. Ради этой мысли эпопея Толстого и написана; он, как строгий учитель, хотел объяснить современникам, что миром правят не герои, не индивидуальные личности, пускай великие, а безличные законы, установленные Богом. Герои — только орудия Провидения, через которые Оно действует. С их согласия или вопреки их воле — не важно.

Постепенно к этой мысли приходят все главные персонажи «Войны и мира». Причем приходят не сразу; они медленно и мучительно пробиваются к этой простой мысли, дорастают до нее. Лишь общенародные события, описанные в третьем и четвертом томах, приближают их к этому пониманию. Так вот почему повествователь позволяет себе

высказать свои воззрения напрямую только в третьем томе! Он не хочет, не может обгонять главных персонажей эпопеи в их правдоискательстве; он терпеливо дожидается момента, когда его размышления соприкоснутся с их поисками смысла жизни. А до тех пор ограничивается полупонамеками, символическими сравнениями, попутными замечаниями.

Выясняется, что ничего принципиально нового третий том в поэтику «Войны и мира» не вносит; что сквозная идея повествователя лишь приобретает в нем новое качество. Просто в начале эпопеи она воплощена в коротких и как будто случайных метафорах, а в Эпизоде окончательно превращается в стройную теорию. И без рассуждений автору невозможно обойтись; они составляют неотъемлемую часть его замысла.